

An impressionistic painting of a sky with soft, textured brushstrokes. The colors transition from a deep teal at the top to a bright yellow and orange at the bottom, suggesting a sunrise or sunset. The overall style is painterly and atmospheric.

Самое лучшее

Иван Мордвинкин

Иван Александрович Мордвинкин

Самое лучшее

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70058902

SelfPub; 2023

Аннотация

Когда самое лучшее уже прожито, и мы вступаем в пределы надвигающейся старости, бывает, душа наша впадает в тоску. И движимые сей напастью, мы мечемся в тягостном поиске. Кто-то бросается к спорту, чтобы продлить молодость, кто-то ищет счастья в работе, иные же подламываются сами собою. Между тем, самое лучшее не позади.

Иван Мордвинкин

Самое лучшее

Алексей Васильевич ничего не успел. Теперь прожитое казалось ему чем-то, чего никогда не случалось, а только виделось ускользающими из памяти сновидениями. Иной раз – яркими и сладкими снами, иной – горькими, сумрачными кошмарами, но не явью, а далёким сумрачным прошлым.

Утро в отцовском доме вышло тревожным и беспокойным – всюду сновала родня, бабы суетились на кухне, на печи шкварчало и шипело горько-праздничное, да его братья бубнили в сенях, спорили не по-доброму.

Алексей Васильевич приоткрыл входную дверь, выглянул в сени, ледяной ветер ударил в лицо и взъерошил на его голове редкие волосы, которые он зачёсывал набок, чтобы хоть как-то прикрыть раздавшийся аж до самой макушки лоб. Колька с Петькой примолкли, съёжились от ветра, вжимая головы в воротники курток, глянули на старшего молча, но гневные их глаза горели.

– Отставить ругань! – рыкнул Алексей на мужиков, прикрыл за собой, и, обходя невесток и их юрких детишек, пробрался в отцову комнату, скрипнул дверью, вошёл в полумрак, пропахший лекарствами и восковыми свечами.

Отец лежал на своей любимой тахте. А ведь на ней все они родились и выросли, и Алексей, и двое его братьев. Когда

это было? Все в тех же снах-воспоминаниях, теперь растворившихся в прожитом.

В свете лампы лицо отцово казалось изможденным и даже страшным, и уж никак не похожим на лицо их бати-вельчака. Теперь оно было так бледно, что в полумраке почти воедино сливалось с напрочь седыми волосами и белой наволочкой, отчего казалось, будто он постепенно растворяется в окружающем.

– А-а... Именинник, – дрожащим, сиплым и чужим голосом выдавил из себя старик. – Эх-ма! Садись вот...

Он похлопал истонченной рукой по краю тахты, Алексей сел тихо, взял его за руку и улыбнулся наружно, внутри же оставаясь встревоженным, а от того, по привычке, сам себя охлаждающим для прочности духа.

– Большой ты уже, – пошутил отец. Его красивые когда-то, но впалые теперь, будто провалившиеся в голову, глаза заблестели. Соскучился, стало быть. – Теперь тебе уже шестьдесят, взрослый. Ты сам приехал, или с сыном?

– С сыном, – улыбнулся, как мог Алексей и ободрительно похлопал отца ладонью по руке. – И с внуком, твоим правнуком!

– С Серёнькой? Где же он, ну ка подавай его сюды! – обрадовался старик и, чтобы придать себе вид бойкий, засуетился в кровати, будто собираясь сесть. Но не сел.

В ответ на его движение по стеклу окошка, у которого стояла тахта, затрепыхал крылышками запоздалый октябрьский

мотылёк – такой же белый, как и лежащий рядом с окном старик.

Отец проследил за Алексеевым взглядом.

– Надо же... – удивился он и с улыбкой покачал головой: – Жизнь! Эх-ма!

– Да... Только поздняя.

– Пока жив – ничего не поздно, – отец смотрел теперь теплее, отчего глаза его стали почти такими же живыми и ясными, какими их помнил Алексей. – Давай Серёнку сюды.

– Да нету его – бабы снарядили по магазинам, он же на своей машине.

– Как... на своей машине? Эх-ма... Он же... – дед свесил руку с тахты, чтобы отмерить от пола и показать, как мал его правнук Серёнка. – Сколько же ему теперь?

– Двадцать, дед, – улыбнулся Алексей, не сдержав теплоты и гордости за сына, отчего вздохнул и уставился в пол, где пред его взором замельтешили картинки воспоминаний.

– О-о... – ответил дед и умолк. Потом, спохватившись, заёрзался, закричал, дрожащей рукой неловко потянулся к тумбочке. – Вот, смотри, что нашлось в старых бумагах.

Он протянул сыну пухлый конверт, набитый истрепанными, надорванными по уголкам фотографиями.

Алексей вынул первую – мама, молодая совсем. Дальше – отцовы детские фотографии, потом его фронтовые снимки, их с мамой свадьба, а вот он – малыш Алёшка лежит голёхонький на ковре. А вот их новый дом в Турнаево, а вот они

купили цветной телевизор, потом отец на «Москвиче», потом новые времена – кооператив, не пригодившийся приватизационный чек, его, Алексеевы фото, присланные с войны, потом ещё и ещё. На своей свадебной фотографии Алексей замер, сглотнул неловко громко и отложил пакет обратно на тумбочку, тяжело вздохнул, растёр лицо ладонями.

– Всякое было, – ответил он уклончиво на немой вопрос отца, заблестевший во влажных его глазах. – Что прожито – то прожито. Как говорит мой сорокалетний сынок – «Смотри вперёд, батя».

– Вперёд... – повторил отец, отвел взгляд и стал пристально разглядывать иконы, будто стараясь предугадать в их лицах свое грядущее, которое впереди. – И ты смотришь вперёд?

Алексей усмехнулся, поправил отцово одеяло и вздохнул.

– Еще смотрю, но... шея сама назад поворачивается. В прошлое...

Они оба усмехнулись шутке и вернулись к разглядыванию икон, в коих каждый видел свое.

В памяти Алексея всплыл лик, виденный им вчера в местной церкви Серафима Саровского. Тогда Алексей Васильевич заскочил в церквушку, потому что давно обещал отцу. Сам бы не пошёл.

Там все было устроено необычно, хотя... с чем сравнишь, когда впервые являешься в храм? И только он подумал, войдя туда, что церковь – место слёз для пожилых людей, как

услышал за спиной всхлипы, обернулся – молодая девочка лет двадцати с небольшим тихо жаловалась иконе.

Икона в ответ глядела ликом благообразного старика – всего собою белого, согбенного, опирающегося на топор.

– И что теперь будет, что дальше, батюшка. Неужели это всё? – расслышал Алексей в её бормотании и снова глянул на икону, надписанную, как «Святой прп. Серафим Саровский».

«Что дальше...» мысленно повторил за нею Алексей и почувствовал, как обида подступает к груди и давит сердце, и без того истерзанное былым. Старец же смотрел на него тепло, отчего Алексей Васильевич почувствовал, как тает в его душе защитный холод. «Не надо меня жалеть!» Он упёрся мыслью в свой шестидесятый день рождения, и пред его умом пронеслась вереница картинок, как в том пухлом конверте с отцовскими фотографиями – детство, военное училище, жена, сын, служба, Дальний Восток, болезненный развод, Новосибирск, командировка – будь она неладна! Потом одиночество, пенсия, пустота... Пустота-та-а! Пустота.

«Неужели это всё?» – мысленно обратился он к Серафиму, но тот только стоял, оперевшись о топориче, и смотрел молча.

Теперь же Алексей сидел у постели больного отца, всматривался в темноту душевной комнаты или бессмысленно глядел на закрытое ставнями окно, на безнадежность белого мотылька, слушал тишину и молчал ни о чем, горько переключался.

дывая даты в своей памяти. А ведь и впрямь уже всё. Шестьдесят.

К обеду за столом собралась вся семья – Алексей Васильевич с сыном Владленом и внуком Серёнькой, двое Алексеевых братьев с жёнами и сыновьями – Алексеевыми племянниками да их жёнками. Поздравляли Алексеюшку с юбилеем, дарили безделушки, наливали и закусывали, благодарили, что приехал издалека, чтобы отпраздновать дома, в кругу близких и родных и навестил болящего отца.

К середине застолья шум голосов и бряцанье посуды внезапно умолкли: в гостиную вошёл дед. Начисто выбритый, светлый, чуть ли не прозрачный, как восковая свеча, но с распрямленной спиной. И так ровен и твёрд, будто даже ростом выше и прожитого сбросил лет двадцать, не меньше. Знающие, как смерть послабляет свою хватку, когда входит уж в самый дом, и от того смертельно-болящие получают в последние часы облегчение, видя деда почти здоровым, ахнули. Незнающие обнадёжились, глядели на деда с радостью.

Любили его.

Теперь же глаза дедовы улыбались, и казалось, что он знает какую-то великую тайну, какое-то громадное, ему одному известно счастье – взрослому, любящему родителю, с улыбкой глядящему на игры своих детишек.

Бабы бросились сердобольно его подхватывать, уговаривая вернуться в постель, но он отстранил их, воссел в загла-

вие и молча всех оглядел.

– Спасибо вам, мои дорогахонькие, – зачем-то поблагодарил он собравшихся не ради него. Голос его уже выровнялся, хотя всё ещё тонковато сипел. – Светло-то у вас тут, по-людски. Серёнька, это когда ж ты так вырос-то? Правнуки растут быстрее внуков... Эх-ма... Женился уж? – обратился он к правнуку.

Серёнька грустно улыбнулся:

– Да, женился. Ждём ребёнка.

– А где же твоя жена? – прадед ещё раз обежал взглядом родню.

– Да она в роддоме, – он ткнул вилкой картошку на своей тарелке, наскрёб на ней полосок, вроде того, как детишки украшают песочные «тортики». Видно, желал через то затянуть время, да ускользнуть от разговора. Но прадед никуда не торопился, пришлось уточнить. – Да мы... Разводимся.

– Что же это? Эх... А что дальше-то?

Серёнька исподлобья глянул на своего отца – Алексева сына Владлена, сорокалетнего сухонького, но юркого, светливого мужичка.

– А дальше... Мирим их! Да там и причины нету никакой, только одно баловство. Милые бранятся, – Владлен смотрел на деда виновато. Сам-то он жену потерял, Серёнькину мать, развёлся. По своей вине и без особой причины. А теперь... поди верни. Жизнь сызнава не пережить.

– Всё им не то, да не так. Молодые, – вздохнул Алексей

Васильевич, махнул рукой и тоже глянул на внука. Тот вжался в плечи – поди ж тут, похрабрись, когда на тебя пеняет отец, дед и прадед, и все своими строгими глазами смотрят разом, молчат и ждут ответа, хотя вопроса-то и не задали никакого.

К концу обеда дед ослабел, со всеми пообнялся, каждого благословил к терпению, а детишек, какие суетились промеж взрослой компании, потискал без пожеланий и наставлений. Так, для радости.

Вечером ему стало плохо, бабы забегались, засуетились, вызвали скорую. Но дед только отмахнулся он них, долго борясь со слабостью, переделся во все чистое и новое, давно уж приготовленное к похоронам. Позвал Алексея.

– Ты не бойся, сынок, – зачем-то успокаивал он сына, взявши его за теплую руку своими тощими и узловатыми, холодными пальцами. – Это только начало. В молодости кажется, что самое лучшее ещё впереди. А когда за половину перевалит, то кажется, что самое лучшее уже позади. Но мы... Мы тут, как семена под землёй – темно нам и страшно, и мы растём, тянемся кто куды. Так ты тянись, сынок, к небу, там солнышко-то. А как будешь готов, прорастёшь и увидишь солнце – вечную жизнь.

– Да куда уж там, бать, – улыбнулся Алексей Васильевич. – Я же... Я жизнь не прожил, мимо вся прошла. Куда теперь тянуться, сам не знаю. Время-то пролетело...

– Ты говоришь о потерянном времени... мне? – отец улыбнулся слабо, тихо-тихо вздохнул. – Тянись кверху, на этом земном застрянешь, так и останешься в этой темноте навечно, семечко ты моё...

Он ещё раз улыбнулся, но получилось как-то не по-настоящему, улыбка быстро угасла и на лице остался только её неестественный отпечаток.

Алексея Васильевича позвали, сунули в руку телефон, нашептали громко и наперебой, что сказать. Он поднёс телефон к уху:

– Алло... Ну ты умничка, молодец! А каким весом? Ого, богатырь! Ну молодец, моя хорошая, дай Бог, хорошо родила! Вы с Серёнькой, говорят, разводитесь? Передумала? Так держать, верным курсом пошла, молодец-боец! Скоро будем!

Телефон забрали, и Алексей Васильевич вернулся к отцу. Тот лежал уже совсем недвижно, едва уловимо шепча нечто сам себе.

Алексей присел на край тахты, снова взял холодную его руку:

– Пра-правнук у тебя родился. Василием назвали, – улыбнулся он отцу.

У того в уголках глаз собрались улыбательные морщинки, а глаза заблестели, и старик собрался с силами, насколько хватило духу:

– Дочитай до конца...

Алексей не понял, о чем он, наконец, разглядел в правой его руке листок, взял, поднёс к глазам, развернул к лампаде – «накаляканный» от руки текст отходной молитвы. Перевёл взгляд на отца, хотел улыбнуться с иронией, взбодрить – какая ещё отходная? Но... не смог. Отец смотрел ясно и до того тепло и радостно, будто не из этого мира на сына глядячи, и будто всю жизнь только и ждал этой простой молитовки. А от того светился теперь, как тот святой старичок на иконе.

Потом кивнул, читай, мол, взгляд его помутился и застыл недвижно и... мертво.

– Папа, – кинулся ему на грудь Алексей Васильевич, перебирая в уме запоздалые слова, которые не успел сказать, которые всегда не к месту и застряют где-то в горле, и, не найдя выхода, потом режут истрепанное сердце. – Прости за все... Если что. Пап... Прости меня!

Но папа уже не отвечал, глаза его глядели в потолок, а может и ещё выше. Намного выше.

Утихнув вскоре, Алексей Васильевич закрыл отцовы глаза и сложил руки его на груди крестообразно, пригнулся с листком к лампаде и прочитал молитву на исход души.

Потом поднялся, пошатываясь, глянул ещё раз на отца, на иконы, на окно. Мотылька уже не было, и Алексей только разглядел крашенные отцом ставни, видные сквозь запотевшее стекло.

– Прощай...

Сложная была прожита жизнь, не без боли, не без злости,

не без страха, не без греха. Но из этого мира в тот вышла она тихо, мирно и устремилась вверх, к небесам, потому как, не по заслугам она получила, а по стремлению. Куда при жизни стремится душа, туда и по смерти возносится.

Через два дня Алексей Васильевич собрался с сыном и внуком домой.

По пути заехал в храм к тому самому святому Серафиму. Здесь шла вечерняя служба, священник восклицал молитвы, хор откликался, а немногий народ крестился и кланялся.

Спутники ходили по церкви, порасставили свечи за упокой, да и за себя, пока есть возможность.

Под конец Алексей Васильевич добрался и до иконы святого Серафима, взгляделся в лик... Не зря его так любят на Руси – стоит старик, проживший жизнь полную до краев, улыбается без улыбки и наполняет сердце зрящего чем-то, что в уме не помещается, а только в сердце аукается мягкой и тёплой тишиной. Постояли, помолчали, послушали богослужение, тоже неясное для ума, а только в душе отзывающееся чем-то уязвимым и живым.

Вышли на улицу.

Жесткий ледяной ветер рванулся, взвыл и затих на мгновение, чтобы набрать разгону. Быстрые тучи гнали облака, и солнце за ними показывалось только бесформенным пятном. Алексей Васильевич глянул на тревожное пятнистое небо.

– Тянись душа к солнцу, – пробормотал он сам себе, потом крикнул по ветру своим спутникам. – Вы, ребят, поезжайте. Я здесь задержусь, есть у меня тут...

Серёнька с Владиком переглянулись, но со своим стариком спорить не стали. Двинули в путь без него, два человека, стремящиеся, как ростки из семян, каждый к своему. Один – к тому, чтобы добраться до всего лучшего, другой – чтобы всё лучшее вернуть.

Алексей Васильевич вошёл в храм, послушал, подумал и... выбрал место, чтобы достоять службу до конца. Конечно, возле иконы святого Серафима – пожилого старичка, который точно знал, что будет дальше и что оно такое, это «самое лучшее», которое впереди.

И, хотя ветер терзал небо, грязня его тучами и срывающимся дождем, Алексей Васильевич знал, что за всей этой непогодой, где-то там, в далёком будущем, есть оно – солнце, жизнь вечная.